

АКСАКОВЫ

ИХ ЖИЗНЬ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Биографические очерки В. Д. Смирнова
С двумя портретами,
гравированными в Париже и Петербурге



В. Д. Смирнов
Аксаковы. Их жизнь и
литературная деятельность
Серия «Жизнь замечательных людей»

предоставлено правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=175320

Аннотация

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839-1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы - профессия.

Содержание

Глава I. Московский кружок славянофилов	6
Глава II. Центр московского славянофильства – дом Аксаковых	16
Конец ознакомительного фрагмента.	20

В. Д. Смирнов
Аксаковы. Их жизнь и
литературная деятельность
Биографические очерки
С двумя портретами, гравированными
в Париже и Петербурге



С.Т. Аксаков



И.С. Аксаков

Глава I. Московский кружок славянофилов

«Славянофильство или руссизм не как теория, не как учение, а как оскорбленное народное чувство, как темное воспоминание и массовый инстинкт, как противодействие исключительно иностранному влиянию существовало со времени обречения первой бороды Петром Великим».

Противодействие петербургскому «объевропеиванию» России никогда не перемежалось; казненное, четвертованное, повешенное на зубцах Кремля и там простреленное Меншиковым и другими царскими «потешными» в виде буйных стрельцов; убитое в рavelине петербургской крепости в лице царевича Алексея, оно – это противодействие – является как партия Долгоруких при Петре II, как ненависть к немцам при Бироне, как разнузданная брань гениального Ломоносова, как сама Елизавета, опиравшаяся на тогдашних славянофилов, чтобы сесть на престол: ведь народ в Москве ждал, что при ее короновании выйдет приказ избить немцев. Все раскольники – славянофилы по настроению. Солдаты, требовавшие смены Барклая-де-Толли за его немецкую фамилию, были предшественниками Хомякова и его друзей.

Война 1812 года сильно развила чувство народного сознания и любви к родине, но патриотизм 1812 года не имел старообрядчески-славянского характера. Мы его видим в Карамзине и Пушкине, в самом императоре Александре. Практически он был выражением того инстинкта силы, который чувствуют все могучие народы, когда их задевают чужие; потом это было торжественное чувство победы, гордое сознание данного отпора. Но теория его была слаба; для того чтобы любить русскую историю, патриоты перекладывали ее на европейские нравы; они вообще переводили с французского на русский римско-греческий патриотизм Корнеля и Расина и не шли далее стиха:

Pour un coeur bien ne, gue la patrie est chere!
Как дорого отечество для благородно рожденного сердца!

Правда, Шишков бредил уже и тогда о восстановлении старого слога, но влияние его было ограничено. Что же касается до настоящего народного слога, то его знал один офранцузенный граф Ростопчин, да и тот частенько перевирал его, преобразовывая в «балаганный стиль».

По мере того как война забывалась, патриотизм этот утихал и вырождался наконец, с одной стороны, в подлую циническую лезть «Северной пчелы», с другой – в пошлый загоскинский патриотизм, называвший Шую Манчестром, Шубуева – Рафаэлем, хваставший штыками и дистанцией огромного размера «от стен Кремля до стен Китая»...

Только при императоре Николае славянофильство из настроения обратилось в доктрину, теорию. В этом многое было повинно, и прежде всего режим николаевского царствования. Удивительное время!

«Создалась, – говорит г-н Любимов, большой сторонник Каткова и „Московских ведомостей“, – правительственная система, с которой не мог примириться ни один независимый ум, прилаживаться к которой свободная мысль могла, лишь заглушая себя, скрываясь, побеждая себя, сосредоточивая внимание на светлых сторонах и закрывая глаза на темные, удовлетворяясь довольством личного положения, лицемеря вольно или невольно, чтобы не прать против рожна».

«Государственная идея, высокая сама по себе и крепкая в державном источнике ее, в практике жизни приняла исключительную форму „начальства“. Начальство сделалось все в стране. Все Кесареви, – Богу оставалось весьма немного. Все сводилось к простоте отно-

шений начальника и подчиненного. Губернатор, при какой-то ссылке на закон, взявший со стола том свода законов и севший на него с вопросом: „где закон?“, был лицом типическим, в частности, добрым и справедливым человеком».

«В то время, — продолжает г-н Любимов, — купец торговал, потому что была на то милость начальства; обыватель ходил по улице, спал после обеда в силу начальственного позволения; приказный пил водку, женился, плодил детей, брал взятки по милости начальнического снисхождения. Воздухом дышали, потому что начальство, снисходя к слабости нашей, отпускало в атмосферу достаточное количество кислорода. Рыба плавала в воде, птицы пели в лесу, потому что так разрешено было начальством. Начальник был безответственен в отношениях своих к подчиненным, но имел, в тех же условиях, начальство и над собою. Для народа, несшего тяготы и крепостных, и государственных повинностей, с включением тяжелой рекрутчины, то было время нелегкой службы. Военные люди как представители дисциплины и подчинения имели первенствующее значение, считались годными для всех родов службы. Гусарский полковник заседал в синоде в качестве обер-прокурора. Зато полковой священник, подчиненный обер-священнику, был служивый в рясе, независимый от архиерея... Всякая независимая от службы деятельность человека считалась разве только терпимой при незаметности и немедленно возбуждала опасение, как только чем-либо ясно обнаруживалась... Телесные наказания считались главным орудием дисциплины и основой общественного воспитания. От учения требовали только практической пригодности, наука была в подозрении. С 1848 года преследование независимости во всех ее формах приняло мрачный характер».

При таких обстоятельствах, при такой тягости жизни почва для утопий, для всяческих мечтаний готова. Славянофилы не замедлили выдвинуть на сцену свою утопию, свои мечтания, что было им так же необходимо, как глоток свежего воздуха задыхающемуся человеку. Обстоятельства заставили их организоваться, сплотиться и подыскать философские подпорки для своих вожделений.

Летом 1836 года в одном из журналов того времени появилось знаменитое письмо Чаадаева. «Это был выстрел, раздавшийся в темную ночь; тонуло ли что и возвещало свою гибель, был ли это сигнал, зов на помощь, весть об утре или о том, что его не будет, — все равно надо было проснуться».

Что, кажется, значат два-три листа, помещенных в ежемесячном обозрении? А между тем, такова сила речи сказанной, такова мощь слова в стране мечтаний, непривыкшей к свободному говору, что письмо Чаадаева потрясло всю мыслящую Россию. Оно имело полное право на это. «После „Горя от ума“ не было ни одного литературного произведения, которое сделало бы такое сильное впечатление. Между ними — десятилетнее молчание. Мысль исподволь работала, но ни до чего не доходила. Говорить было опасно, да и нечего было сказать; вдруг тихо поднялась какая-то печальная фигура и потребовала речи для того, чтобы спокойно сказать: „lasciate ogni speranza“.¹

«Со второй, третьей страницы письма, — говорит современник, — меня остановил печально-серьезный тон: от каждого слова веяло долгим страданием, уже охлажденным, но еще озлобленным. Так пишут только люди, долго думавшие, много думавшие и много испытывавшие в жизни... Читаю далее — письмо растет, оно становится мрачным обвинительным актом, протестом личности, которая за все вынесенное хочет высказать часть накопившегося на сердце».

«Каждый чувствовал тяготу. У каждого было *что-то* на сердце и все-таки все молчали, наконец пришел человек, который по-своему сказал — *что*. Он сказал только про боль, свет-

¹ «Оставьте всякую надежду» (*ит.*). Из Данте: «lasciate ogni speranza voi qu'entrate — „оставь надежду всяк сюда входящий“»

лого ничего нет в его словах, да нет ничего и во взгляде. Письмо Чаадаева – безжалостный крик боли и упрека петровской России, она имела право на него; разве эта среда жалела, щадила автора или кого-нибудь?

«Разумеется, такой голос должен был вызвать против себя оппозицию, или он был бы совершенно прав, говоря, что „прошедшее России пусто, настоящее невыносимо, а будущего для нее вовсе нет, что „это пробел недоразумения, грозный урок, данный народам – до чего отчуждение и рабство могут довести“. Это было покаяние и движение. Оно и не прошло так. На минуту все, даже сонные и забытые воспрянули, испугавшись зловещего голоса. Все были изумлены, большинство было оскорблено, человек десять громко и горячо аплодировали автору“.

История России – грозный урок, данный народам, «до чего отчуждение и рабство могут довести», – такова основная мысль Чаадаева. Искренняя, выстраданная, она, однако, несправедлива до резкости, до обиды. Комментируя ее, Чаадаев говорил: «в Москве каждого иностранца водят смотреть большую пушку и большой колокол. Пушку, из которой стрелять нельзя, и колокол, который свалился прежде, чем зазвонил. Удивительный город, где достопримечательности отличаются нелепостью; или, может быть, этот большой колокол без языка – иероглиф, выражающий эту огромную немую страну, которую заселяет племя, назвавшее себя *славянами*, как бы удивляясь, что имеет слово человеческое»...

Нельзя было оставить без отпора такое неуважение. Чаадаев и славянофилы равно стояли перед неразгаданным сфинксом русской жизни; они равно спрашивали: «что же будет? Так жить невозможно; тягость и нелепость окружающего очевидно невыносима – где же выход?»

«Его нет», – отвечает человек петровского периода, исключительно западной цивилизации, веривший при Александре I в европейскую будущность России. Он печально указывал, к чему привели усилия целого века: образование дало только новые средства угнетения, народ стонет под игом, горшем прежнего. «История других народов, – говорит он, – повесть их освобождения. Русская история – развитие крепостного состояния». «Переворот Петра сделал из нас худшее, что могло сделать из людей, – просвещенных рабов. Довольно мучились мы в этом тяжелом, смутном нравственном состоянии, непонятые народом, отшатнувшиеся от него, – пора отдохнуть, пора свести в свою душу мир, прислониться к чему-нибудь». Это почти значило: «пора умереть», и Чаадаев «прислонился» к католицизму.

Славянофилы решили вопрос иначе.

В их решении лежало верное сознание живой души в народе, чутье их было пронительнее их разума. Они поняли, что современное состояние России не смертельная, а лишь временная болезнь. И в то время как у Чаадаева слабо мерцает возможность спасения лиц, а не народа, у славянофилов явно проглядывает мысль о гибели лиц, захваченных современной эпохой, и вера в спасение народа – его будущность.

«Выход за нами, – говорили славянофилы, – выход – в отречении от петербургского периода, возвращение к народу, с которым разобщило иностранное образование: *воротимся* к прежним, допетровским нравам».

Верное хорошее настроение воплотилось в странную форму. История не возвращается: жизнь богата тканями, ей никогда не бывают нужны старые платья. Все восстановления, все реставрации были всегда маскарадами: ни легитимисты не возвратились ко временам Людовика XIV, ни республиканцы – к 8 Термидору. Случившееся стоит писанного, его не вырубешь топором... хотя бы самой гильотины.

Нам, сверх того, и не к чему возвращаться. Государственная жизнь допетровской России была уродлива, бедна, дика, – а к ней-то и хотели славянофилы возвратиться, хотя они и не признаются в этом: как же иначе объяснить все археологические воскрешения, поклонение нравам и обычаям прежнего времени и сами попытки возвратиться не к современной

одежде крестьян, а к старинным неуклюжим *боярским* костюмам. И что это за ненависть к фракам и брюкам немецко-парижского покроя? Во всей России, кроме славянофилов, никто не носил мурмолок. К. С. Аксаков оделся так «национально», что народ на улицах принимал его за персиянина, как рассказывает, шутя, Чаадаев.

Мурmolки и персидские кафтаны должны были набрасывать тень на все славянофильские теории. Эта тень по необходимости сгустилась, когда узкий, назойливый, даже наглый, национализм нашел себе убежище и радушный прием в славянофильском лагере.

«Так, например, в конце тридцатых годов был в Москве проездом панславист Гай. Москвитяне верят вообще всем иностранцам; Гай был больше чем иностранец, он был „наш брат“ славянин. Ему, стало быть, нетрудно было разжалобить наших славян судьбою страждущих и православных братии в Далмации и Кроации; огромная подписка была сделана в несколько дней, и сверх того Гаю был дан обед во имя всех сербских и русняцких симпатий. За обедом один из нежнейших по голосу и по занятиям славянофилов, человек *красного* православия, – К. Аксаков, – разгоряченный, вероятно, тостами за черногорского владыку, за разных великих босняков, чехов и словаков, импровизировал стихи, в которых было следующее «не совсем» христианское выражение:

Упыюся я кровью мадяров и немцев...

Все неповрежденные с отвращением услышали эту фразу. По счастью, остроумный статистик Андросов выручил кровожадного певца; он вскочил со своего места, схватил десертный ножик и сказал: «Господа, извините меня; я вас оставлю на минуту; мне пришло в голову, что хозяин моего дома, старик настройщик Диз, – немец; я сбегаю его прирезать и сейчас же возвращусь». Гром смеха заглушил негодование.

Письмо Чаадаева заставило славян организоваться. В начале 40-х годов они были в полном боевом порядке со своей легкой кавалерией под начальством Хомякова и чрезвычайно тяжелой пехотой Шевырева и Погодина, со своими застрельщиками, охотниками, ультракобинцами, отвергавшими все бывшее после киевского периода, и умеренными, отвергавшими только петербургский период; у них были свои кафедры в университете, свое ежемесячное обозрение, как бы символически выходившее всегда двумя месяцами позже, чем следовало, но все же выходившее. При главном штабе состояли православные гегелианцы, византийские богословы, мистические поэты, множество женщин и пр., и пр. По всей линии происходили ожесточенные стычки с западниками. Эти постоянные, через день повторявшиеся стычки очень интересовали литературные салоны в Москве. Надо заметить вообще, что Москва входила тогда в ту эпоху возбужденности умственных интересов, когда литературные вопросы, за невозможностью политических, становятся вопросами жизни. Появление замечательной книги, например «Мертвых душ», составляло событие. Критики и антикритики читались и комментировались с тем вниманием, с каким, бывало, во Франции или Англии следили за парламентскими прениями. Подавленность всех других сфер человеческой деятельности бросала образованную часть общества в книжный мир и в нем одном действительно совершался глухо и полунамеками протест против тяготы жизни. В лице западников, и Грановского по преимуществу, московское общество приветствовало рвавшуюся к свободе мысль Запада, – мысль умственной независимости и борьбы за нее. В лице славянофилов оно протестовало против оскорбленного чувства народности.

Все это, разумеется, совершалось на вершинах общества, нисколько не затрагивая массы. В то время и славянофильство, и западничество по необходимости были эзотерическими, «внутренними» учениями, истинный смысл которых был доступен лишь немногим посвященным.

«Я в Москве знал, – говорит один современник, – два круга, два полюса ее общественной жизни. Сначала я был потерян в обществе стариков гвардейских офицеров времени Екатерины, товарищей моего отца, и других стариков, нашедших тихое убежище в странноприимном сенате, товарищей его брата. Потом я знал другую, *молодую* Москву – литературно-светскую. Что прозябало и жило между старцами пера и меча, ожидавшими своих похорон по рангу, и их сыновьями или внучатами, не искавшими никакого ранга и занимавшимися «книжками и мыслями», я не знал и не хотел знать. Промежуточная среда эта – настоящая николаевская Русь – была бесцветна и пошла, без екатерининской оригинальности, без отваги и удали людей 1812 года, без наших стремлений и интересов... Говоря о московских гостиных и столовых, я говорю о тех, в которых некогда царил А.С. Пушкин, давали тон декабристы, смеялся Грибоедов, где М. Орлов и А. Ермолов встречали дружеский привет, потому что они были в опале; где, наконец, А. Хомяков спорил до 9 часов утра, начавши в 9 вечера, где К. Аксаков с мурмолкой в руке свирепствовал за Москву, на которую никто не нападал, где Р. выводил логически личного Бога *ad maiorem gloriam Hegelii*,² где Грановский являлся со своей тихой, но твердой речью, где все помнили Бакунина и Станкевича, где Чаадаев, тщательно одетый, с нежным, как из воску, лицом, сердил оторопевших аристократов и православных славян колкими замечаниями, всегда отлитыми в оригинальную форму и намеренно замороженными, где молодой старик А.П. Тургенев мило сплетничал обо всех знаменитостях Европы от Шатобриана и Рекамье до Шеллинга и Рахели Варнгаген, где Боткин и Крюков патетически наслаждались рассказами М. С. Щепкина и куда, наконец, падал, как конгревова ракета, Белинский, выжигая кругом все, что попадало...»

В этих кружках за литературными чаями и литературными ужинами все волновалось и кипело. Москва принимала деятельное участие в спорах за мурмолки и против них, барыни и барышни читали статьи очень скучные, слушали прения очень длинные, спорили сами за К. Аксакова или за Грановского, жалели только, что Аксаков слишком славянин, а Грановский недостаточно патриот. Споры возобновлялись на всех литературных и нелитературных вечерах, на которых встречались западники и славянофилы, а это бывало раза два или три в неделю. В понедельник собирались у Чаадаева, в пятницу – у Свербеева, в воскресенье – у Елагиной. Сверх участников в спорах, сверх людей, имевших мнения, на эти вечера приезжали охотники, даже охотницы, и сидели до двух часов ночи, чтобы посмотреть, кто из матадоров кого отделаёт и как отделаёт его самого: приезжали в том роде, как встарь ездили на кулачные бои и в амфитеатр за Рогожской заставой.

Ильей Муромцем, разившим всех со стороны православия и славянизма, был А.С. Хомяков, «Горгиас, совопросник мира сего», по выражению Морошкина. ум сильный, подвижный, богатый средствами и неразборчивый в них, богатый памятью и быстрым соображением, он горячо и неутомимо проспорил всю свою жизнь. Боец без усталости и отдыха, он бил и колол, нападал и преследовал, осыпал островами и цитатами, пугал и заводил в лес, откуда без молитвы выйти было нельзя.

Философские споры его состояли в том, что он отвергал *возможность разумом дойти до истины* (один из краеугольных догматов славянофильства); он приписывал разуму одну формальную способность, способность развивать зародыши или *зерна, даваемые откровением, получаемые верой*. Если же разум оставлен на самого себя, то, бродя в пустоте и строя категорию за категорией, он может обличить свои законы, но никогда не дойдет ни до понятия о духе, ни до понятия о бессмертии. На этом Хомяков бил наголову людей, остановившихся между религией и наукой. Как они ни бились в формах гегелевской методы, какие ни делали построения, Хомяков шел за ними, шаг за шагом, и под конец дул на карточный дом логических формул, или подставлял ногу своим противникам и заставлял их падать в

² К вящей славе Гегеля (*лат.*)

материализм, от которого они стыдливо отрекались, или в «атеизм», которого они просто боялись. Хомяков торжествовал! Но, разумеется, он не мог не пасовать перед людьми, которые безбоязненно принимали *все* выводы науки, куда бы она ни вела их.

Тут же были и другие столпы славянофильства, братья Киреевские – Иван и Петр. Оба они стоят печальными тенями на рубеже народного воскресения; непризнанные живыми, не делившие их интересов, они не скидывали савана, не расставались со своей глубокой грустью.

«Преждевременно состарившееся лицо Ивана Васильевича носило резкие следы страданий и борьбы. Жизнь ему не улыбалась. С жаром принялся он в своей юности за ежемечасное обозрение „Европеец“. Две вышедшие книжки были превосходны, при выходе второй *«Европеец»* был запрещен. Он поместил в *«Деннице»* статью о Новикове. *«Денница»* была схвачена, и цензор Глинка посажен под арест. Киреевский, расстроивший свое состояние *«Европейцем»*, уныло почил в пустыне московской жизни; ничего не представлялось вокруг – он не вытерпел и уехал в деревню, затаив в груди глубокую скорбь и тоску по деятельности. И этого человека, твердого и чистого, как сталь, развела ржа. Через десять лет он возвратился в Москву из своего отшельничества мистически настроенный.

Положение его в Москве было тяжелое. Совершенной близости, сочувствия у него не было ни с западниками, ни со славянофилами. Между ним и западниками была стена веры и церковных православных догматов. В то же время поклонник свободы и принципов французской революции, он не мог разделять пренебрежения ко всему европейскому новых старообрядцев-славян. Он однажды с глубокой печалью сказал Грановскому: «Сердцем я больше связан с вами, но не делю многого из ваших убеждений; с нашими я ближе верой, но столько же расхожусь в другом». С Иваном Киреевским было больно спорить, как больно спорить с разрушающимся человеком.

Характеристика славянофильского кружка вышла бы, однако, неполной, если бы мы забыли упомянуть о самом фантастическом проповеднике правовеярия и народничества, К. Аксакове. Мы еще часто будем встречаться с ним, пока – всего несколько строк.

«Константин Аксаков не смеялся, как Хомяков, в диалектическом упоении мысли и не сосредоточивался в безвыходном сетовании, как Киреевские. Мужающий юноша, и при том вечный юноша, он рвался к делу. В его убеждениях мы видим не неуверенное пытанье почвы, не печальное сознание проповедника в пустыне, не дальние надежды, а фанатическую веру, нетерпимую, одностороннюю, – ту, которая могла бы сдвинуть с места горы. Аксаков был односторонен, как всякий воин. Он был окружен враждебной средой, средой сильной и имевшей над ним большие выгоды, ему надо было пробиваться через ряды всевозможных неприятелей и водрузить свое знамя. Какая уж тут терпимость!»

«Вся жизнь его была безусловным протестом против петровской Руси, против петербургского периода во имя непризнанной, подавленной жизни русского народа. Его диалектика уступала диалектике Хомякова, он не был поэт-мыслитель, как И. Киреевский, но он за свою веру пошел бы на площадь, пошел бы на плаху, а когда это чувствуется за словами, они становятся страшно убедительными. Он в начале 40-х годов *проповедовал сельскую общину, мир и артель*. Он научил Гаксгаузена понимать их и, последовательный до детства, первый опустил панталоны в сапоги и надел рубашку с кривым воротом. «Москва – столица русского народа, – говорил он, – а Петербург – только резиденция».

Аксаков остался до конца жизни вечно восторженным и беспредельно благородным юношей: он увлекался, был увлекаем, но всегда был чист сердцем. В 1844 году, когда споры славянофилов с западниками дошли до того, что они уже не хотели более встречаться, Г. как-то шел по улице, К. Аксаков ехал в санях. Г. дружески поклонился ему. Он было проехал, но вдруг остановил кучера, вышел из саней и подошел к Г. «Мне было слишком больно, – сказал он, – проехать мимо вас и не проститься с вами. Вы понимаете, что после всего,

что было между вашими друзьями и моими, я не буду к вам ездить; жаль, жаль, но делать нечего. Я хотел пожать вашу руку и проститься». Он быстро пошел к своим саням, но вдруг воротился. Г. стоял на том же месте; ему было грустно. Аксаков бросился к нему, крепко обнял его и крепко поцеловал. У него на глазах были слезы. Этому-то младенцу сердцем, но убежденному и непреклонному фанатику и пришлось играть главную роль в проповеди славянофильства. Можно себе наперед представить, сколько горячности было внесено в эту проповедь и к каким жизненным практическим результатам могла она привести!

Быстро и далеко зашла ссора из-за теоретических разногласий между западниками и славянофилами, и полемика за литературными чаями мало-помалу перешла в журнальную.

Грановский, Г. и другие кое-как еще ладили со славянофилами. Не уступая начал, они не делали из разномыслия личного вопроса. Белинский, страстный в своей нетерпимости, шел дальше и горько упрекал своих друзей-западников за покладистость. «Я жид по натуре, – писал он одному из них из Петербурга, – и с филистимлянами за одним столом есть не могу. Грановский хочет знать, читал ли я его статью в „Москвитянине“ (орган славян)? Нет, и не буду читать. Скажи ему, что я не люблю ни видаться с друзьями в неприличных местах, ни назначать им там свидания».

Зато честили его и славянофилы. «Москвитянин», раздраженный Белинским, раздраженный успехом «Отечественных записок» и успехом знаменитых лекций Грановского, защищался чем попало и всего менее жалел Белинского; он прямо говорил о нем, как о человеке опасном, жаждущем разрушения, радующемся при зрелище «пожара», и т. д.

«Москвитянин» был, главным образом, выразителем профессорского славянофильства двух своих редакторов, Погодина и Шевырева – этих сиамских близнецов, как их тогда называли. «Москвитянин» мало-помалу стал задевать уже не только Белинского за его журнальные статьи, но и Грановского – за его лекции. И делалось это, к сожалению, с тем же несчастным отсутствием такта, который восстанавливал против славянского органа всех порядочных людей. Шевырев и Погодин обвиняли Грановского в пристрастии к западному развитию, к известному порядку опасных идей. Грановский поднял их перчатку и смелым, благородным возражением заставил их покраснеть. Он публично с кафедры спросил своих обвинителей, почему он должен ненавидеть Запад, и зачем, ненавидя его развитие, стал бы он читать его историю.

«Меня обвиняют, – сказал Грановский, – в том, что история служит мне только для высказывания моего воззрения. Это отчасти справедливо, я имею убеждения и провожу их в моих чтениях; если бы я не имел их, я не вышел бы публично перед вами для того, чтобы рассказывать в большей или меньшей степени занимательно ряд событий».

Ответы Грановского были так просты и мужественны, его лекции так увлекательны, что славянские доктринеры притихли, а молодежь им рукоплескала. После курса был даже сделан опыт примирения. Западники давали Грановскому обед после его заключительной лекции. Славянофилы захотели участвовать. Пир был удачен; в конце его после многих тостов противники обнялись и поцеловались. Но виноваты в этом были лишь выпитые тосты.

Оказалось прежде всего невозможным умиротворить Белинского. Он слал своим друзьям грозные письма из Петербурга, отлучал их, предавал анафеме и писал все злее и злее в «Отечественных записках». Наконец он торжественно указал пальцем против «проказы» славянофильства и с упреком повторил: «вот вам она!» – он был прав. Дело заключалось в том, что некогда любимый поэт, сделавшийся святошей от болезни и славянофилом по родству, хотел стегнуть славянофилов умирающей рукою; по несчастию он избрал для этого опять-таки полицейскую нагайку. В пьесе под заглавием «Не наши» он называл Чаадаева отступником от православия, Грановского – лжеучителем, растлевающим юношество, Г. – слугой, носящим блестящую ливрею западной науки, и всех трех – изменниками отечеству.

Обстоятельство это, разумеется, прибавило много горечи в отношения обеих враждующих партий. Нашлись люди, которые с восторгом носились с доносом в стихах и читали его, где только было возможно. Имя поэта, имя чтеца, круг, в котором он жил, круг, который им восхищался, – все это раздражало умы. Славяне и западники стали друг против друга с обнаженными мечами, враждующие, непримиримые, и это уже навсегда – вплоть до наших дней.

Видимую победу на первых порах одержали западники.

«На этот раз, – говорит современник, – победителями вышли не славяне. Общественное мнение громко решило в нашу (западническую) пользу. В глухую ночь, когда *«Москвитянин»* тонул и *«Маяк»* (другой славянофильский орган) не светил ему больше из Петербурга, Белинский, вскормивши своей кровью *«Отечественные записки»*, поставил на ноги их побочного сына (*«Современник»* Н. Некрасова) и дал им обоим такой толчок, что они могли несколько лет продолжать свой путь с одними корректорами и батырщиками,³ литературными мытарями и книжными грешниками. Белинского имени было достаточно, чтобы обогатить два журнальных прилавка и сосредоточить все лучшее в русской литературе в тех редакциях, в которых он принимал участие – в то время, как таланты Киреевского и Хомякова не могли дать ни ходу, ни читателей *«Москвитянину»*.

Победа западников была, однако, как мы скоро увидим, скорее мнимая, чем действительная. Славянофильство было только дискредитировано, но не уничтожено, и дискредитировано столько же статьями Белинского, сколько собственной своей бестактностью. Основная его черта – полное отсутствие политического смысла, полная неопределенность гражданских вожеланий – проявилась в нем на первых же порах.

Мыслящая часть общества стала на сторону западников. Эти последние все же знали, что им делать, и, несмотря на тягость окружающего, знали, чего хотеть, чего искать. В славянофилах же был силен элемент отчаяния, заставлявший их хвататься за соломинку и питаться иллюзиями, чтобы спасти себя от полного маразма и уныния. Посмотрите, как рассуждали их главарь.

Хомяков твердил постоянно, что так как разум не может дать никакого ответа на вопросы о Боге, бессмертии души и т. д., *то* нужна вера. В сущности говоря, между недостаточностью разума и необходимостью веры никакой логической связи нет. Вера спасительна лишь в том случае, если она *есть*, никакая аргументация в защиту ее необходимости не заставит меня проникнуться ею. Хомяков побеждал своих противников лишь потому, что те были робкие люди, готовые постоянно прятать голову в песок. Но однажды маленький разговор с поразительной ясностью открыл всю несостоятельность его проповеди.

«Присутствуя несколько раз при его спорах, – рассказывает один современник, – я заметил, что Хомяков пугает своих робких противников, и в первый раз, когда мне самому пришлось помериться с ним, сам завлек его к „страшным“ выводам. Хомяков щурил свой косой глаз, потряхивал черными, как смоль, кудрями и (уверенный в победе) улыбался.

– Знаете ли что, – сказал он вдруг, как бы удивляясь новой мысли, – не только одним разумом нельзя дойти до разумного духа, развивающегося в природе, но не дойдешь до того, чтобы понять природу иначе, как простое непрерывное брожение, не имеющее цели, и которое может и продолжаться, и остановиться. А если это так, то вы не докажете и того, что история не оборвется завтра, не погибнет с родом человеческим, с планетой.

– Я вам и не говорил, – ответил я ему, – что я берусь это доказывать, – я очень хорошо знал, что это невозможно.

³ Батырщик («батырить» – *ит.* «battere» – «бить») – в старину рабочий в типографии, наводящий краску на набор; переносное значение – неквалифицированный рабочий печатного цеха типографии

– Как? – сказал Хомяков, несколько удивленный, – вы можете принимать эти страшные результаты свирепейшей имманенции, и в вашей душе ничего не возмущается?

– Могу, потому что выводы разума независимы от того, хочу я их, или нет.

– Ну, вы, *по крайней мере*⁴, *последовательны*; однако, как человеку надо *свихнуть себе душу*, чтобы примириться с этими печальными выводами нашей науки и привыкнуть к ним!

– Докажите мне, что *не наука* ваша истина, и я приму *ее* выводы так же откровенно и безбоязненно.

– Для этого надобно веру.

– Но, Алексей Степанович, вы знаете: «на нет и суда нет».

Хомяков утверждал недостаточность разума. Но что другое как не тот же недостаточный разум показал ему необходимость веры? Получилось безысходное противоречие. Но надо было схватиться за соломинку, чтобы не принимать результатов «свирепейшей имманенции», надо было за отсутствием истинной веры изобрести ее суррогат – недостаточность разума.

Таким же суррогатом питался и И. Киреевский. По поводу общеизвестного его рассказа об иконе Владимир Соловьев делает немало остроумных замечаний, говоря между прочим:

«По Киреевскому выходит, что предмет народной веры всецело создается самой этой верой: икона перестает быть простой доской с изображением и становится священным и даже чудотворным предметом лишь посредством многовекового накопления молитв и возношений: она, так сказать, намагничивается обращенной на нее душевной силой верующего народа. Но с чего же этот народ стал вдруг в нее верить? По обыкновенным религиозным понятиям истинная вера обусловлена известными священными предметами, которые имеют действительное значение сами по себе; икона не потому свята, что ей молятся, а, наоборот, ей молятся, потому что она свята. Если же допустить с Киреевским, что святость и чудесная сила сообщаются иконе только накоплением людских молитв и слез, – то, спрашивается, к чему же первоначально обращались эти молитвы, перед чем проливались эти слезы? Детская вера простого народа обратила к православию родоначальника славянофильства; но сама эта народная вера, по его же взгляду, могла быть первоначально лишь каким-то случайным самообольщением или бессмысленным фетишизмом. Так, даже при самых лучших чувствах, не удастся искусственное, преднамеренное, субъективными мотивами вызываемое сближение с народом. Даже искренно верующий славянофил все-таки остается внутренне чужд и непричастен народной вере. Он верит в народ и в его веру, но ведь народ верит не в самого себя и не в свою веру, а в независимые от него и от его веры религиозные предметы».

Сколько искусственного, деланного в такой вере, и сколько душевного отчаяния в этих попытках. На совершенно справедливую мысль, что Россия велика и могуча, что у ней есть будущее, несмотря *ни на что*, славянофилы нагромодили настроенное здание – храм без Бога, и украсили его иконами, к вере в которые возбуждали сами себя! Совершенно верно замечено про них:

«В первую минуту, когда Хомяков почувствовал пустоту душевную, он поехал гулять по Европе во время сонного и скучного царствования Карла X, докончив в Париже свою забытую трагедию „Ермак“ и потолковавши со всякими далматами и чехами на обратном пути, – он воротился. Все скучно! По счастью открылась турецкая война, он пошел в полк *без нужды, без цели* и отправился в Турцию. Война кончилась и кончилась другая забытая трагедия «Дмитрий Самозванец». Опять скука!»

«В этой скуке, в этой тоске, при этой странной и страшной обстановке, мелькнула какая-то новая мысль; едва высказанная, она была осмеяна; *тем яростнее* бросился на отстаивание ее Хомяков, тем глубже она вошла в плоть и кровь Киреевского. Семя было брошено.

⁴ Хорошо это: «по крайней мере»!

На посев и защиту всходов пошла сила первых славянофилов. Надо было людей нового поколения, не свихнутых, не подломленных, которыми мысль их была бы принята не страданием, не болезнью, как до нее дошли учителя, а передачей, наследием. Молодые люди откликнулись на их призыв, люди Станкевичева кружка примыкали к ним, и в их числе такие сильные личности, как К. Аксаков и Юрий Самарин».

Глава II. Центр московского славянофильства – дом Аксаковых

Думаю, что, несколько не преувеличивая дела, можно считать дом Аксаковых центром московского славянофильства. Здесь, на самом деле, они любили собираться своим кружком или «скопом», как они выражались. Здесь ораторствовал Хомяков, здесь вырос «пророк» славянства – Константин Аксаков, здесь же напитался славянским духом его знаменитый брат – Иван Сергеевич. Обстановка этого дома, его обиход, мелкие и крупные подробности его жизни – все это отпечатлелось на славянофильской доктрине в ее окончательном виде, все это носит на себе основной и резко заметный характер барства, – того барства, которым когда-то так славилась Москва. Полагаю, что барского характера разбираемой доктрины никто отрицать не станет, хотя почему-то никто до сей поры не подчеркивал его. А между тем, как увидит читатель, здесь-то и кроется ключ к объяснению многих и многих особенностей славянофильства. Не хотели отметить до сей поры, что и это учение, как почти все учения, волновавшие до сей поры мир и людей, – есть *классовое* порождение.

Характеристику «дома» начну с отца – С. Т. Аксакова.

«Сергей Тимофеевич, – пишет Панаев, – был большой хлебосол и гордился этою московскою добродетелью. Аксаковы тогда (в 40-х годах) жили в большом отдельном деревянном доме на Смоленском рынке. Для многочисленного семейства Аксакова требовалась многочисленная прислуга. Дом его был битком набит дворнею. Это была уже не городская жизнь в том смысле, как мы ее понимаем, а патриархальная, широкая, помещичья жизнь, перенесенная в город. Дом Аксакова и снаружи, и внутри по устройству, распоряжению совершенно походил на деревенские барские дома; при нем были: „обширный двор, людская, сад и даже бани в саду“. «Дом Аксаковых, – говорит в другом месте Панаев, – с утра до вечера был полон гостями. В столовой ежедневно накрывался длинный и широкий стол по крайней мере на 20 кувертов.⁵ Хозяева были так просты в обращении со всеми посещавшими их, так бесцеремонны и радушны, что к ним нельзя было не привязаться. Я по крайней мере полюбил их всей душой».

Во главе семьи и дома стоял Сергей Тимофеевич Аксаков, знаменитый впоследствии автор «Семейной хроники».

«Он был высок ростом, крепкого сложения и не обнаруживал еще ни малейших признаков старости. Выражение лица его было необыкновенно симпатично, он говорил всегда звучно и сильно, но голос его превращался в голос стентора, когда он декламировал стихи, а декламировать он был величайший охотник». Характер добродушной патриархальности, лежавший на всем складе домашней обстановки Сергея Тимофеевича, остался неизменным вплоть до самой смерти его. Панаев знал дом Аксаковых в самом конце тридцатых годов и начале сороковых. Но таким же его рисуют люди, которые столкнулись с Сергеем Тимофеевичем в середине пятидесятых годов. «Дом Аксакова, – пишет Лонгинов, – был одним из приятнейших в Москве. Нравственное влияние Сергея Тимофеевича было ощутительно не в одном семействе. Примерный супруг, отец, брат, он был и образцом друзей, к которому шли за советом и помощью его многочисленные друзья. Он умел с первого раза приобретать любовь и доверие всякого и никому не отказывал в своем содействии или участии, а, напротив, сам вызывался на услуги. Это была душа чистая, исполненная христианских чувств, и в то же время ум светлый, прямой, соединенный с характером откровенным, возвышенным и

⁵ Куверт (фр. *couvert*) – столовый прибор

энергическим. Он сохранил до глубокой старости, среди тяжких недугов, участие ко всему прекрасному и силу воли вместе с какою-то младенческою ясностью души».

Эта-то «младенческая ясность души», переданная Сергеем Тимофеевичем по наследству обоим своим знаменитым сыновьям, и составляла, кажется, отличное свойство характера главы дома Аксаковых. Лонгинов говорит еще об «энергии» и «возвышенности», но, думается, совершенно напрасно. По крайней мере во всем, что вышло из-под пера Сергея Тимофеевича, ни энергии, ни возвышенности не видно, а видна, кроме огромного, чисто стихийного литературного таланта (кстати сказать, и до сей поры неоцененного), именно эта младенческая ясность души, это незлобие духа, целиком обломовского и барского, словом – духа легкой привольной жизни.

Сергей Тимофеевич – фигура заметная. Не напиши он ни одной строчки, все же нельзя было бы миновать его характеристики, так как он славен своими сыновьями: а их имен не вычеркнет историк умственного развития России, как бы ни относился он к славянофильству. Я посвящу ему несколько страниц, подчеркивая в рассказе лишь те черты, которые характерны для настроения «славян».

Он родился в Уфе 20 сентября 1791 года. Кто читал «Семейную хронику», тот помнит, до каких чрезвычайных, резких проявлений доходила болезненная впечатлительность маленького Багрова. Это черта автобиографическая, как и все остальное в «Семейной хронике» и «Детских годах Багрова-внука», где надо только подставить вместо Багровых Аксаковых, чтобы получить правдивую летопись событий первых лет жизни Сергея Тимофеевича. Обаятельная фигура интеллигентной, красивой, энергичной и вместе с тем безумно нежной матери маленького Багрова хотя и отзывается идеализацией, но едва ли слишком противоречит действительности. В «Семейной хронике» есть страница классическая в смысле изображения героизма материнского и вообще семейного чувства, и роль героини играет здесь мать Сергея Тимофеевича. Узнавши, что сын ее, отданный в Казанскую гимназию, неожиданно захворал, Аксакова бросила все и, несмотря на распутицу, пустилась в путь.

«В десять дней, – сказано в „Семейной хронике“, – дотащилась моя мать до большого села Мурзихи на берегу Камы; здесь вышла уже большая почтовая дорога, крепче уезженная, а потому ехать по ней представлялось более возможности, но зато из Мурзихи надобно было переехать через Каму, чтобы попасть в село Шуран, находящееся в 80 верстах от Казани. Кама еще не прошла, но надулась и посинела; накануне перенесли через нее на руках почту, но в ночь пошел дождь, и никто не соглашался переправить мою мать и ее спутников на другую сторону. Мать моя принуждена была ночевать в Мурзихе; боясь каждой минуты промедления, она сама ходила из дома в дом по деревне и умоляла добрых людей помочь ей, рассказывала свое горе и предлагала в вознаграждение все, что имела. Нашлись добрые и сильные люди, понимавшие материнское сердце, которые обещали ей, что если дождь в ночь уймется и к утру хоть крошечку подмерзнет, то они берутся благополучно доставить ее на ту сторону и возьмут то, что она пожалует им за труды. До самой зари молилась мать моя, стоя на коленях перед образом той избы, где провела ночь. Теплая материнская молитва была услышана: ветер разогнал облака и к утру мороз высушил дорогу и тонким ледочком затянул лужи. На заре шестеро молодцов, рыбаков по промыслу, выросших на Каме и привыкших обходиться с нею во всяких ее видах, каждый с шестом или багром, привязав за спину нетяжелую поклажу, перекрестясь на церковный крест, взяли под руки обеих женщин, обутых в мужские сапоги, дали шест Федору, поручив ему тащить чуман, т. е. широкий лубок, загнутый спереди кверху и привязанный на веревке, взятый на тот случай, что неровно барыня устанет, – и отправились в путь, пустив вперед самого расторопного из своих товарищей для ощупывания дороги. Дорога лежала вкось, и надобно было пройти около трех верст. Переход через огромную реку в такое время так страшен, что только привычный человек может

совершить его, не теряя бодрости и присутствия духа. Федор и Параша просто ревели, прощались с белым светом и со всеми родными, и в иных местах надобно было силою заставлять их идти вперед, но мать моя с каждым шагом становилась бодрее и даже веселее. Провожатые поглядывали на нее и приветливо потряхивали головами. Надобно было обходить полыни, перебираться по сложенным вместе шестам, через трещины; мать моя ни за что не хотела сесть на чуман, и только тогда, когда дорога, подошед к противоположной стороне, пошла возле самого берега по мелкому месту, когда вся опасность миновала, она почувствовала слабость, сейчас постлали на чуман меховое одеяло, положили подушки, мать легла на него, как на постель, и почти лишилась чувств: в таком положении дотащили ее до ямского двора в Шуране. Мать моя дала сто рублей своим провожатым, но честные люди не захотели ими воспользоваться; они взяли по синенькой на брата (по пяти рублей ассигнациями). С изумлением слушая изъявления горячей благодарности и благословения моей матери, они сказали ей на прощанье: „дай вам Бог благополучно доехать“, и немедленно отправились домой, потому что мешкать было некогда: река прошла на другой день».

Безумно, нежно любимый, под крылышком у матери, готовый воспринять смертную казнь, чтобы только сыну ее было хорошо, рос Сергей Тимофеевич в дворянском гнезде. Жизнь была привольная, хотя и не роскошная, и это приволье чувствовалось во всем: и в природе – тогда, в начале нашего века, неограбленной еще человеком, и в воспитании, не подчиненном никакой феруле,⁶ и в окружающей помещичьей среде, провинциальной, тихой, в собственном кругу добродушной. Крепостной труд был тем пуховиком, на котором не жились и размякали холеные члены старых и молодых Обломовых – отца Сергея Тимофеевича, доброго, мягкого человека, неспособного ни на дурное, ни на хорошее, его самого, будущего знаменитого писателя, а большую часть жизни просто русского барина, про которого трудно даже сказать что-нибудь определенное. Несколько противоречит этой картине фигура Баграва-деда, энергическая, отчетливо выраженная, но и она, в сущности, мало нарушала тишь и благодать аксаковщины.

Десяти лет от роду Сергея Тимофеевича отдали в Казанскую гимназию, а 4 года спустя он совершенно неожиданно попал в студенты. Что это был за студент – 14-летний мальчик, плохо даже грамотный, – представить нетрудно, но так как в Петербурге распорядились открыть Казанский университет, то, очевидно, нужны были и студенты. И вот часть гимназии была отдана под университет, часть преподавателей назначена профессорами, а лучшие из учеников старших классов «произведены» в студенты. Благодаря протекции в число последних попал и С. Аксаков, хотя сам он сознается, что по познаниям своим далеко не заслуживал такого «производства», и «слушая университетские лекции, он в то же время весьма благоразумно продолжал по некоторым предметам учиться в гимназии».

«Мало вынес я, – рассказывает сам Аксаков, – научных сведений из университета не потому, что он был еще очень молод, не полон и не устроен, а потому, что я был слишком молод и детски увлекался в разные стороны страстностью своей природы. Во всю жизнь чувствовал я недостаточность этих научных сведений, особенно положительных знаний, и это много мешало мне и в служебных делах, и в литературных занятиях».

Жизнь очень и очень многих старых бар складывалась без всяких душевных бурь, без всяких треволнений. Шла она благополучно в гимназии, в университете, на службе и тихо угасала на перине, без исканий, без уклонений в сторону. Своеобразный фатум, пожалуй даже предопределение, изложенное в разных грамотах, пожалованных российскому дворянству, руководило ею. Надо было только не выходить из рамок. Но ведь обломовщина справед-

⁶ Ферула – *лат.* – раньше так называли линейку, которой били по ладоням ленивых школьников. Еще ряд значений «руководство», «указка», «строгое обращение», «тяжелый режим». «Под ферулой» – т. е. «под началом»

ливо считается основной чертой старорусского характера, и «горе от ума» для него гораздо менее характерно, чем страдание от ожирения.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.